И ОТКРЫВАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Зимой 1960 года в Доме офицеров флота шла областная комсомольская конференция. В один из перерывов перед делегатами выступил самодеятельный ансамбль из Паланы.

— Корякская сюита! — объявил стоявший в центре живописной группы, где в основном были девушки, низкорослый паренек в кухлянке. Тихо тихо, будто за далеким перевалом зарокотал бубен, и паренек, вдохновенно откинув голову с высоким лбом и густыми вьющимися волосами, стал декламировать стихи. Наконец, бубен вырвался на простор, группа пришла в плавное движение, а паренек повел сольный танец, вторя бубну резкими вскриками, энергично двигая плечами и руками, волнисто опадая до самого пола и поднимаясь, подобно разгорающемуся огонечку свечи. Бубен откатывался назад, за перевал, снова звучали стихи.

Тогда мы не познакомились, но я узнал, что это был Володя Косыгин. Говорили, что он недавно вернулся из Ленинграда, где учился в Институте народов Севера. Говорили, что он — начинающий поэт, и стихи, которые он читал, были его собственными.

Мне он понравился, что называется, с первого взгляда. Прекрасными были его танцы, дикция и даже некоторая самоуверенность, которую не без основания считают привилегией молодости. Но стихи, мне показалось, были слабыми, вернее, они не были стихами. Правильные слова о счастливой тундре — не больше. Они могли жить до определенной поры за счет общего поэтического настроения сюиты. Для самостоятельной жизни не годились.

Прошло 23 года. Сегодня, когда ему пятьдесят, казалось бы, сам бог велел сказать: у Владимира Владимировича Коянто (Косыгина) счастливая творческая судьба. Он — член Союза писателей СССР, автор пяти книг, изданных на Камчатке, в Москве и Новосибирске; его стихи и рассказы напечатаны в многочисленных сборниках России и других республик, есть переводы за рубежом; стихотворение «Родник» вошло в «Библиотеку Всемирной литературы» и, наконец, имя Коянто (Косыгина) значится в Советской литературной энциклопедии.

Это ли не счастливая судьба! Можно считать, как угодно, только путь Владимира Коянто к литературному признанию поразительно похож (не его ли он имел в виду) на тундровую дорогу, которую он описывает в стихотворении «Откройтесь, звезды»: «Нас трое в пути. Середина мая. Хмурое небо: то дождь, то снег. От воды под нами дорога живая... А звезд все нет, и наста нет». И постепенно приходит к едущему по тундре человеку из города навязчивая мысль: «Может, вернешься, и завтра дома? Может, к черту эти дороги?».

Такие сомнения мучили и начинавшего литератора. Он писал, а звезды признания не открывались, и не было под ногами дающего уверенность наста. «Может, к черту эти дороги?..». Пожалуй... Он оставляет сочинительство и уходит «в люди». Некоторое время заведует в Седанке Красной ярангой — этим летучим клубом на собачьих нартах, ездит к оленеводам и постепенно открывает для себя подлинную жизнь. В поездках он ведет дневники, которые потом станут основой первой его повести «Месяц молочных важенок». Но до повести еще далеко, а пока что Косыгин делает для себя очередной вывод: все-таки в тундре он гость. Характеры, проблемы — все узнается наскоком, отрывочно. Звезды по-прежнему не открываются.

Снова тот же вопрос: «Может, к черту эти дороги?». Да, без колебания отвечает Косыгин и на целых два года уходит пастухом в оленеводческую бригаду. Теперь он не гость, ему не делают исключения (лучший кусок мяса, самый уютный полог). Он как все: голодает возле стада в пору затяжной пурги, валится с ног в поисках отколовшихся от табуна оленей, негодует, ощущая на себе чье-то равнодушие к нуждам пастухов... Он не присматривается — живет. И сами собой раскрываются в непринужденном общении характеры.

Здесь был перелом. Забылись риторические опыты. В стихи пришел реальный герой, пришли те конкретные детали, которых, не увидев, не ощутив на натуре, не придумаешь и при самом богатом воображении.

Он менял дороги, но это не было метанием из стороны в сторону, все дороги в конечном итоге складывались в одну, единственно избранную в жизни — к литературному творчеству.

И открылись звезды. В газетах, в журнале «Дальний Восток» зачастили стихи Владимира Коянто. Появление псевдонима символизирует начало нового этапа в жизни — рождение писателя. В переводе «коянто» означает оленный человек. Он имел моральное право причислить себя к людям, которые стали его любимыми героями.

После выхода в свет книжки стихов «Оленьими тропами» и повести «Месяц молочных важенок» Владимир Коянто два года учился на Высших курсах при литературном институте имени Горького. Открывались новые звезды: он стал непременным участником всех российских и общесоюзных собраний, посвященных развитию литератур народов Севера.

Настоящий художник всегда многогранен. Владимир Коянто раньше всего проявился как артист. Вместе с Георгием Поротовым он был одним из создателей ансамбля «Мэнго». Это потом «Мэнго» стало профессиональной группой, оставившей орнаментальные автографы Камчатского севера на многих континентах. А начиналось с самодеятельных игр, и в них неизлечимо болеющий литературой Коянто показывал чудеса артистизма в национальном танце и в игре на бубне. Он мог стать заслуженным артистом, но стал признанным писателем.

Писатель — будь он поэтом, романистом, рассказчиком — всегда чувствует себя публицистом. Бывают, конечно, исключения — стихи и только стихи, роман и ничего кроме романа. Но и в этом случае литератор лукавит, изначальная природа публициста дает о себе знать и в тонкой лирике, и в многоэтажной эпопее. Владимир Коянто из тех литераторов, кто не лукавит, кто от художественной иносказательности то и дело переходит к открытой публицистике. Его газетные выступления о необходимости развивать в округе полеводство, о запущенности дел в одном из оленеводческих хозяйств, размышления о национальных культурных традициях коряков несут на себе печать зрелой мысли, они актуальны и образны. Каждое выступление писателя на злобу дня находит поддержку местных партийных и советских органов. Писателя не заботит то обстоятельство, что газета, как принято считать, живет один день. Раньше, чем лечь в архивную подшивку, она дает толчок к решению волнующей писателя проблемы. Дать толчок — в этом высшее назначение публицистики. И писателя-публициста.

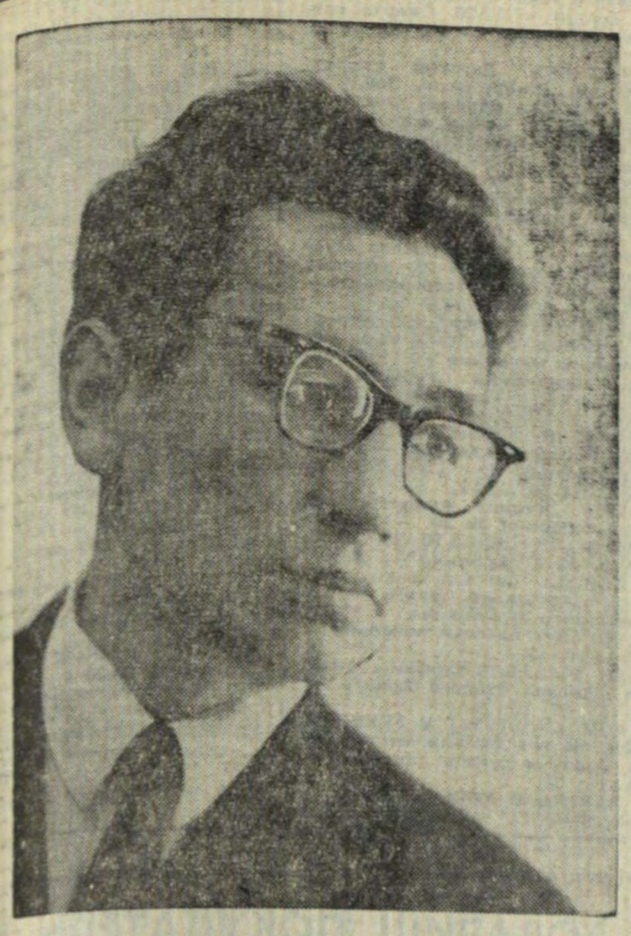
Он много исходил, многое изведал. Но все ли уже рассказано людям из того, что видено и пережито, из того, что радовало или отдавалось острейшей болью в душе? Этого никто, кроме него, не знает. Но мы, его читатели и товарищи, можем строить самые оптимистические предположения — такое право у нас есть. И я предполагаю, с каким нетерпением он переживает юбилейную канитель (приятную, но все-таки канитель), чтобы снова — за работу, снова в беспредельную дорогу!

Крепкого тебе здоровья, Оленный Человек! Это — пожелание от имени всех, кто тебя читает. Что касается творческих напутствий, то от них я воздерживаюсь, потому что никто не сможет дать тебе напутствия лучше того, какое ты сделал сам себе:

Пусть мои песни —
Оленьи тропы —
Вечным костром
Полыхают в груди!

Виктор КУДЛИН.

Страница посвящена 50-летию со дня рождения писателя Владимира КОЯНТО (КОСЫГИНА)



И ОТКРЫВАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Зимой 1960 года в Доме офицеров флота шла областная комсомольская конференция. В один из перерывов перед делегатами выступил самодеятельный ансамбль из Паланы.

— Корякская сюита! — объявил столпившийся в центре живописной группы, где в основном были девушки, низкорослый паренек в кухлянке. Тихо тихо, будто за далеким перевалом зароко-тал бубен, и паренек, вдохновенно откинув голову с высоким лбом и густыми вьющимися волосами, стал декламировать стихи. Наконец, бубен вырвался на простор, группа пришла в плавное движение, а паренек повел сольный танец, вторя бубну резкими вскриками, энергично двигая плечами и руками, волнисто опадая до самого пола и поднимаясь, подобно разгорающемуся огонечку свечи. Бубен откатывался назад, за перевал, снова звучали стихи.

Тогда мы не познакомились, но я узнал, что это был Володя Косыгин. Говорили, что он недавно вернулся из Ленинграда, где учился в Институте народов Севера. Говорили, что он — начинающий поэт, и стихи, которые он читал, были его собственными.

Мне он понравился, что называется, с первого взгляда. Прекрасными были его танцы, дикция и даже некоторая самоуверенность, которую не без основания считают привилегией молодости. Но стихи, мне показалось, были слабыми, вернее, они не были стихами. Правильные слова о счастливой тундре — не больше. Они могли жить до определенной поры за счет общего поэтического настроения сюиты. Для самостоятельной жизни не годились.

Прошло 23 года. Сегодня, когда ему пятьдесят, казалось бы, сам бог велел сказать: у Владимира Владимировича Коянто (Косыгина) счастливая творческая судьба. Он — член Союза писателей СССР, автор пяти книг, изданных на Камчатке, в Москве и Новосибирске; его стихи и рассказы напечатаны в многочисленных сборниках России и других республик, есть переводы за рубежом; стихотворение «Родник» вошло в «Библиотеку Всемирной литературы» и, наконец, имя Коянто (Косыгина) значится в Советской литературной энциклопедии.

Это ли не счастливая судьба! Можно считать, как угодно, только путь Владимира Коянто к литературному признанию поразительно похож (не его ли он имел в виду) на тундровую дорогу, которую он описывает в стихотворении «Откройтесь, звезды»: «Нас трое в пути. Середина мая. Хмурое небо: то дождь, то снег. От воды под нами дорога живая... А звезд все нет, и наста нет». И постепенно приходит к едущему по тундре человеку из города навязчивая мысль: «Может, вернешься, и завтра дома? Может, к черту эти дороги?».

Такие сомнения мучили и начинавшего литератора. Он писал, а звезды признания не открывались, и не было под ногами дающего уверенность наста. «Может, к черту эти дороги?..». Пожалуй... Он оставляет сочинительство и уходит «в люди». Некоторое время заведует в Седанке Красной ярангой — этим летучим клубом на собачьих нартах, ездит к оленеводам и постепенно открывает для себя подлинную жизнь. В поездках он ведет дневники, которые потом станут основой первой его повести «Месяц молочных важенок». Но до повести еще далеко, а пока что Косыгин делает для себя очередной вывод: все-таки в тундре он гость. Характеры, проблемы — все узнается наскоком, отрывочно. Звезды по-прежнему не открываются.

Снова тот же вопрос: «Может, к черту эти дороги?». Да, без колебания отвечает Косыгин и на целых два года уходит пастухом в оленеводческую бригаду. Теперь он не гость, ему не делают исключения (лучший кусок мяса, самый уютный полог). Он как все: голодает возле стада в пору затяжной пурги, валится с ног в поисках отколовшихся от табуна оленей, негодует, ощущая на себе чье-то равнодушие к нуждам пастухов... Он не присматривается — живет. И сами собой раскрываются в непринужденном общении характеры.

Здесь был перелом. Забылись риторические опыты. В стихи пришел реальный герой, пришли те конкретные детали, которых, не увидев, не ощутив на натуре, не придумаешь и при самом богатом воображении.

Он менял дороги, но это не было метанием из стороны в сторону, все дороги в конечном итоге складывались в одну, единственно избранную в жизни — к литературному творчеству.

И открылись звезды. В газетах, в журнале «Дальний Восток» зачастили стихи Владимира Коянто. Появление псевдонима символизирует начало нового этапа в жизни — рождение писателя. В переводе «коянто» означает оленный человек. Он имел моральное право причислить себя к людям, которые стали его любимыми героями.

После выхода в свет книжки стихов «Оленьими тропами» и повести «Месяц молочных важенок» Владимир Коянто два года учился на Высших курсах при литературном институте имени Горького. Открывались новые звезды: он стал непременным участником всех российских и общесоюзных собраний, посвященных развитию литератур народов Севера.

Настоящий художник всегда многогранен. Владимир Коянто раньше всего проявился как артист. Вместе с Георгием Поротовым он был одним из создателей ансамбля «Мэнго». Это потом «Мэнго» стало профессиональной группой, оставившей орнаментальные автографы Камчатского севера на многих континентах. А начиналось с самодеятельных игр, и в них неизлечимо болеющий литературой Коянто показывал чудеса артистизма в национальном танце и в игре на бубне. Он мог стать заслуженным артистом, но стал признанным писателем.

Писатель — будь он поэтом, романистом, рассказчиком — всегда чувствует себя публицистом. Бывают, конечно, исключения — стихи и только стихи, роман и ничего кроме романа. Но и в этом случае литератор лукавит, изначальная природа публициста дает о себе знать и в тонкой лирике, и в многоэтажной эпопее. Владимир Коянто из тех литераторов, кто не лукавит, кто от художественной иносказательности то и дело переходит к открытой публицистике. Его газетные выступления о необходимости развивать в округе полеводство, о запущенности дел в одном из оленеводческих хозяйств, размышления о национальных культурных традициях коряков несут на себе печать зрелой мысли, они актуальны и образны. Каждое выступление писателя на злобу дня находит поддержку местных партийных и советских органов. Писателя не заботит то обстоятельство, что газета, как принято считать, живет один день. Раньше, чем лечь в архивную подшивку, она дает толчок к решению волнующей писателя проблемы. Дать толчок — в этом высшее назначение публицистики. И писателя-публициста.

Он много исходил, многое изведал. Но все ли уже рассказано людям из того, что видено и пережито, из того, что радовало или отдавалось острейшей болью в душе? Этого никто, кроме него, не знает. Но мы, его читатели и товарищи, можем строить самые оптимистические предположения — такое право у нас есть. И я предполагаю, с каким нетерпением он пережидает юбилейную канитель (приятную, но все-таки канитель), чтобы снова — за работу, снова в беспредельную дорогу!

Крепкого тебе здоровья, Оленный Человек! Это — пожелание от имени всех, кто тебя читает. Что касается творческих напутствий, то от них я воздерживаюсь, потому что никто не сможет дать тебе напутствия лучше того, какое ты сделал сам себе:

Пусть мои песни —
Оленьи тропы —
Вечным костром
Полыхают в груди!

Виктор КУДЛИН.

Глядя на эту заразительную пляску Владимира Коянто, невольно вспоминаешь его стихотворение «В Седанке — ярмарка».

В Седанке — ярмарка!
В Седанке — ярмарка!
Хо-ло-ло-оо-
Сегодня норгали,
Пляшет норгали
Все село!

Москва... Это ей народ Корякии обязан новой жизнью. Со столицей связаны многие страницы биографии и корякского писателя Коянто. Здесь он выступал на сцене Кремлевского Дворца съездов и на ВДНХ, здесь учился на Высших литературных курсах, бывал на писательских съездах и совещаниях, и здесь вышла его книга «Верхние люди подождут».

Фото В. КРАВЧЕНКО.

Владимир КОЯНТО

РОДНОЙ ВЕТЕР

● Глава из нового романа

I.

Пел дедушка Микифлю. Низко наклонив голову, слушал песню старого оленевода Вадим. Изредка он посматривал на Талвала и Пининан. Потом взгляд его скользнул по деревянному бюсту, подарку украинских художников:

— Как жаль, — думал Вадим, — что Ивика так и не увидит своего изваяния. Может быть, эта радость продлила бы ему жизнь?!

Пининан уронила голову на плечо брата, всхлипывала: «Что делать будем, Тала?».

Талвал успокаивал сестру, а песня дедушки каждой фразой уводила его в далекое военное время. Что это было? Сон?

Тогда, в сорок третьем, Талвалу было десять, потому ему хорошо запомнилось это время. В начале октября отец вместе с другими охотниками уехал в Валхатинские хребты с надеждой, чтобы наловить там кижуча, поохотиться. В Арольмане не было даже соли. В доме Ивиков давно не пахло жареными лепешками. Правда, мамушка Каманэ приносила из больницы, где она работала санитаркой, кусочки черствого хлеба, иногда несколько картофелин. Но это было редко: год был трудный для всех. Чаще Талвал бегал к дедушке Беккери, выпрашивал у него несколько пластинок юколы, сухой заплесневелой рыбы. Но и это было нечасто. Дедушка Беккери — отец Ивика, считался шаманом не только в местечке Арольман, а во всей округе Каранылъо. Он не любил своего старшего сына за то, что тот стал председателем сельского Совета. Но к внукам он был добр, потому и перепадало им иногда: то кусочек нерпичьего жира витвитки, постоянно пахнувшего керосином, то несколько юкол до того сухих, что даже зубы голодных собак отца не смогли ее прокусить. Но в ту голодную зиму для детей и это был праздник. Поделив юколку между собой, они усаживались поближе к печке, раскрывали дверцу и грелись у чуть тлеющих дров. Огонь высвечивал их худые детские лица. Они были полны надежд и ожиданий: не залают ли собаки в Арольмане, не зазвенит ли колокольчик на среднике отца?!

Маленькой Пининан только исполнился годик. Она с наслаждением сосала кусочек сухой юколы, но не понимала, почему Тала часто смотрит на дверь и поет какую-то песню.

Талвал всех больше ждал отца. Он верил, что вот-вот настежь раскроется дверь и вместе с клубами мороза, весь в инее, на пороге появится отец и радостно пропоет: «Дело Ленина живет!»

Так было всегда, сколько себя помнит Талвал. Любая радость в доме Ивиков встречалась этой песней. В детстве кто-то убил лахтака, пошла первая рыба, пастухи подогнали оленей к стойбищу, потом, когда он стал врачом хирургом, каждая его операция, прошедшая успешно, завершалась песней «Дело Ленина живет!».

Трудно началась зима сорок третьего. Теперь это как сон. Да и тогда...

Талвалу снился сон: отец в белой камлейке, по белой тундре с ружьем наперевес, гонится за лисой с большим пушистым хвостом и черным крестом на спине широкой. До самых Валхатинских хребтов догнал отец лису. И вдруг огромные, острые скалы, покрытые инеем, похожие на клыки Келли—вожака дедушки, раздвинулись. На посиневшем от холода небе замаячили яркие, холодные звезды. Скалы повернулись острием друг к другу, а посередине лиса, как красный язык, стоит на задних лапках и ломается-пляшет, как на празднике «Хололо» старая шаманка, сестра Беккери, бабушка Аграфена. Распущенный хвост горит, глаза, как звезды сверкают, а она лапкой зовет отца: «Иди ко мне, Ивика, иди!».

Скалы-клыки, как только лиса заломается, заблестят, залязгают... — Не ходи! Не хо-оди, аппа! — Талвал проснулся с заплаканными глазами. Перед ним на коленях с жирником в руках стоял отец:

— Ты почему плакал, Тала? Что тебе приснилось?

— Аппа! Аппа приехал! — Талвал вылез из кукуля, старого отцовского спального мешка. Он любил в отсутствии отца спать в нем. Просторно и тепло.

Разденешься догола. Нырнешь в него. Сначала тебя обдаст холодом, как все равно в реку Арольман нырнул. А потом пахнет от него родным, отцовским. За окном стужа, в избе—холод, а в кукуле—благодать: тундрой пахнет, костерком. А какие сны снятся в кукуле. Как все равно немое кино смотришь. Вот почему, как только наступал вечер, Талвал заносил из сеней кукуль и первым нырял в него.

— Аппа! Аппа! Приехал?! — Талвал не вылез, а выскочил из кукуля, наспех напялил галифе из тяжелого сукна. Тогда все ребятишки подражали взрослым: носили штаны с горбами по бокам. Штанины— две явалые горбуши, пришитые пупками друг к другу.

В доме было тепло. Запах вареного мяса щекотал в носу, ярко горел жирник. У печи возилась Каманэ. Пининан сидела на коленях отца и держала в руках мясо, рядом Микуль—брат возился с куропатками, пересчитывая их несколько раз.

— Я тебя во сне видел, аппа! Ты лисицу крестовку до самых Валхатинских скал гнал. А скалы разошлись. Оказалось вдруг, что это пасть Келли. А лисичка, как бабушка, в красной кухлянке давай ломаться...

— А чего ты напугался, кричал, звал меня?

— Я очень боялся, что ты пойдешь за лисицей. Зубы у скал острые, лиса хитрая звала тебя! — Талвал прижался к отцу. Пининан протянула ему мясо. Но ему очень хотелось услышать от отца самые заветные, самые нужные слова. Ведь сколько дней он ждал этого часа. Если бы знал отец. И Талвал не вытерпел:

— Аппа, дело Ленина живет?

— Живет, Тала, еще как живет!— Он подвел сына к мешку, лежащему у порога. Мешок шевелился, словно дышал.

Талвал наклонился и протянул руки.

— Осторожно, сынок, может укусить.

— Лисичка?! Крестовка? — Талвалу верилось и не верилось. А мешок ползал по полу, живой мешок!

— Чернобурка, сынок!

— Чернобурка?! Вот здорово! — Талвал давно уже мог различать лис. Возвращаясь с охоты, отец каждый раз показывал и рассказывал сыну, какие бывают лисы и соболя, какие у них повадки. Иногда он брал сына с собой проверять капканы. В свои десять лет Талвал научился ставить петли на зайцев и куропаток, промышлял и горностая. Тогда в Арольманской школе была создана специальная ученическая бригада, которая так и называлась «В помощь фронту». Возглавлял ее Як-Як-Яша — друг Талвала. Но в сорок третьем тундра была скудна: изчезли куропатки вблизи Арольмана, ушли зайцы. Вот и ждали дети добычи своих отцов.

— Долго она не давалась мне! — рассказывал отец. — Вот и соболишко был уже разделан, а лиса все ходила вокруг да около. Подойдет к капкану, съест приманку, и ищи ее. У самых Валхатинских хребтов на глухаря поймал. Потому я так долго не ехал. Очень уж хотелось ее добыть. Хоть и соболишко тоже хороший, укинский, — отец вытащил из мешка шкурку соболя, дунул на нее. Серебристые волны пошли по меху. —Трудно и он мне достался.

И Талвал представил себя на месте отца: уходит соболишко, путает след. По наклонным деревьям бегает, ныряет в глубокий снег, в дупле прячется, под кедрач таится... И вот он, укинский соболишко,— мука, сахар, соль, лепешки...

— Все будет, сынок! — отец повесил шкурку соболя на гвоздик.

— А лисичку тоже на шкурку? — Талвалу сильно хотелось, чтобы ее живую увидели Вадим, Линда, Як-Як.— Вот бы в школу ее,— размечтался он.

— И лисичку на шкурку, — Каманэ ласково взглянула на сына, — сахару и муки много надо, вам материи на рубашки.

— Может быть, не надо рубашки, ыммэ,—поник Талвал и стал невесел, — пока так, может, походим?!

— Скоро праздники, сынок, а вы у меня вон как поизносились, — Каманэ пододвинула Талвалу чашку с супом, — поешь да иди досыпай, проспишь в школу.

— А правда, что мы шкуру лисы дедушке отдадим? — не унимался Талвал, — ведь он у нас главный шаман.

—Зачем дедушке? Аппа продаст в кооператив, Семкину.

— А говорят, что он много ездил по стойбищам и собирал шкурки, за них ничего не давал. Его шаманом за это прозвали и не любили.

— Был он когда-то шаманом, теперь его никто не слушает, старик наш дедушка, совсем из ума выжил, пугает только детей да старух. Пускай тешится. — Каманэ отложила несколько кусочков зайчатины: — Утром накормишь брата и сестру.

— Угу! — Талвал перестал жевать. — А Вадиму можно?

— И Вадиму можно! Иди спать!

— Аппа?! — обратился Талвал к отцу, — пусть лисичка поживет немножко, я хочу показать ее друзьям.

— Пусть поживет, Тала, поживет! Иди спать, — он потрепал сына по голове.

Талвал поплясал вокруг живого мешка, сбросил рубашку и галифе, с песней: «Дело Ленина живет!» нырнул в кукуль, щекой прижался к подкукульнику и тут же заснул. Ему снова снился сон: он ведет лисичку чернобурку по Арольману, следом бегут Вадим, Линда, Як-Як и все школьники. Они подгоняют ее. Лиса упирается и говорит ему человеческим голосом:

— Куда ты ведешь меня, Тала?

— К моему дедушке!

— К шаману Беккери?

— Не-ет? К дедушке! Мой дедушка—не шаман, не шаман.

— А зачем ведешь меня?

— Сменяю тебя на часы-ходики, на ходики сменяю! — кричит Талвал и просыпается, поспешно вылезает из кукуля и идет к живому мешку. Мешок не шевелился. Талвал дотронулся до него рукой и тут же отдернул ее. Мешок огрызнулся.

— Живая! — Талвал радостно потянулся и нырнул в кукуль.

* * *

Поет дедушка Микифлю прощальную песню, последнюю песню рода Ивиков. И когда он замолкает, из глубины зала льется плавная мелодия «Хоральных прелюдий» Баха. Щемит сердце у Вадима: ведь эту пластинку, как и многие другие ценные, спас ему Ивика, друг его отца, отец Талвала и Пининан. Когда это было? Год, два назад. Вадим силился вспомнить, но музыка уводила его, он поднимал глаза в сторону Пининан. Перед своим последним уходом, Ивика сказал: «Берегите Пининан. Ты и Талвал, ведь она ваша сестра!».

— Нет, больше чем сестра! — подумал Вадим. Он понял это тогда, пусть год, два назад, но тогда...

Ивика разбудил сильный стук в дверь.

— Кого так рано черти носят?— ворчал он. Не спеша сунул ноги в чижи и пошел открывать.

В дверях стоял Анатолий Цыгалев, председатель спорткомитета. Красное лицо и синий нос, руки дрожали.

— Извини, дедушка Ивика, не туда попал. Перепутал домами. Всего-то три дома двухэтажных, а вот перепутал. — Анатолий медленно побрел к выходу.

— Зачем приходил? Может, что нужно?

— Да! — безнадежно махнул рукой Анатолий, — все равно не поможешь, — он знал, что Ивика давно не употреблял спиртного и не любил хмельных.

— Кто был, аппа?

— Шпортшмен Толя.

— На улице мороз? — спросила Каманэ, видя, как дрожат руки Ивика.

— Кажись, мороз. Шпортшмен-то весь крашный!

— А когда он бывает не красный. С утра, поди, похмелиться просил? — Каманэ, что-то бубня себе под нос, пошла на кухню, а Ивика, захватив помойное ведро, пошел в сарай за дровишками. Но вернулся он скоро.

— О! Эккэ-кун!— удивилась Каманэ, когда вместо дров увидела в охапке старика кучу патефонных пластинок.

— На помойке нашел! — Ивика осторожно опустил пластинки на пол.

— Что-то ты подозрительный старик стал! Все какие-то шутки придумываешь. Говори скорее, где взял? У споршмена выменял?

—На помойке нашел! Говорят тебе! — Повторил Ивика и присел перед пластинками. К нему подсела и Каманэ.

— Глинка, «Сомнение», романс, исполняет Шаляпин! — читала по слогам Каманэ, — Бах, «Хоральные прелюдии», орган...

— Как, как ты сказала, повтори?

—Хоральные прелюдии, Бах, орган.

— Мамушка? Так это же пластинки Вадима!

— Вадима?

— Только у него я слушал Баха! Только у него! Осторожно, мумушка, пускай пластинки оттают хорошенько! Почему пластинки Вадима на помойке оказались? Почему?

Помнит Ивика, как Вадим, прежде чем поставить пластинку с «Лунной сонатой» Бетховена на диск проигрывателя, говорил такие слова: «Слушая ее, будем наблюдать с тобой, дедушка, закаты солнца, печалиться будем, любить и плакать!».

Откуда брал Вадим такие хорошие слова, Ивика не знал, но слушая музыку Вадима, рассказ его о несчастном и обездоленном, больном и одиноком человеке — Бетховене, он проникался уважением к музыке, к самому Вадиму и радовался. Брал бубен, пел свои мелодии. Вадим тоже слушал и тоже восторгался. Ведь эта была тоже музыка и понятна ему, русскому парню.

Перебирая и протирая пластинки сухой тряпкой, Ивика искал «Лунную». «Неужели и она тоже попала на помойку?» — думал про себя старик. Его сердце предчувствовало беду в доме Вадима. Эта тревога передавалась Каманэ.

— Ой, гошподи! — причитала она, — почему так люди живут?

«Лунная!» — простонал Ивика, схватил пластинку и выскочил из дому. Каманэ не останавливала его. Она понимала, что старик должен быть рядом с Вадимом, там беда. Она поспешно надела легкую кухлянку и выбежала следом за мужем.

Морозный воздух хлестко стеганул в лицо. Над селом пронесся гул. Каманэ подняла голову. В голубом январском небе делал круг самолет Як-40, оставляя за собой черный дымный шлейф.

Из поэтического сборника «Родник»

Родник

Родниковой воды
Напьюсь,
Освежу и лицо и грудь.
Если в сердце проникнет
Грусть,
И туда не забуду
Плеснуть.
В роднике
Вода-бирюза:
Как хрусталь,
И звонка и чиста.
Это Родины милой
Глаза.
Это матери нежной
Уста!

Тундра не любит слабых

Говоришь:
— Все видела,
Испытала...
А такие дороги
Снились?
После третьего
Превала
От усталости
Люди валились.
Набирали силу
Чаем.
Цвета, подобного
Смоли,
Пили чай,
По хлебу скучая.
На ногах
Считали мозоли.
Отдохнув,
Уходили снова.
К перевалу шли,
В хребты.
И тебя
Человеком новым
Называл
Проводник Юльты.
Угощал
Медвежьим пловом,
Удивлялся:
— Смелая баба!
И твердил лишь
Четыре слова:
— Тундра не любит
Слабых!

Солнце меня разбудило

Солнце меня разбудило:
Коянто, пора вставать!
С чего горячее светило
Вздумало озоровать?
Сквозь шторы домашних окон
Пустило руки-лучи,
Пригрело отцовским оком
И по одеялу стучит:
— Я щедро
на вдохновение,
Вставай, Коянто, пиши!
— Грустно.
— Тем не менее,
Дарю его от души.
— С добрым утром! —
Знакомый голос.
К черту постельную лень!
А перед домом
Мой белоногий олень.
С добрым утром,
Мое спасение,
И прости меня, озорной.
Никогда не предамся я лени,
Если солнце и ты со мной.

Олененок

Перед утром мне приснился
Олененок белоногий
Он по-детски все резвился
Перед дальнею дорогой,
Что манила и ласкала,
То равниною, то кручей,
В море ягеля купала...
Разве жизнь ему наскучит?
Разве он утратит силы,
Если с ним земля родная?
Крикнул я:
— Несись, мой милый,
Мысль в полете обгоняя!
Я его за шею обнял,
Олененок встрепенулся...
А потом копытцем топнул,
И помчал...
А я проснулся!